

Елизавета Николаевна Водовозова

К свету



Елизавета Водовозова

К свету

«Public Domain»

1916

Водовозова Е. Н.

К свету / Е. Н. Водовозова — «Public Domain», 1916

«Как-то осенью, в первой половине шестидесятых годов, в мою квартиру позвонили. Когда я открыла дверь, на пороге передо мной стояла молодая, красивая девушка с нежным, здоровым румянцем на щеках, с густыми каштановыми волнистыми волосами, с темными глазами. Эта была моя подруга по институту, Антонина Николаевна Садовская. Только что мы успели расцеловаться, как кто-то опять дернул за колокольчик...»

© Водовозова Е. Н., 1916

© Public Domain, 1916

Содержание

I	5
II	11
III	16
IV	20
V	23
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Елизавета Водовозова

К свету

Из жизни людей шестидесятых годов

I

Как-то осенью, в первой половине шестидесятых годов, в мою квартиру позвонили. Когда я открыла дверь, на пороге передо мной стояла молодая, красивая девушка с нежным, здоровым румянцем на щеках, с густыми каштановыми волнистыми волосами, с темно-кариыми глазами. Эта была моя подруга по институту, Антонина Николаевна Садовская¹. Только что мы успели расцеловаться, как кто-то опять дернул за колокольчик. Оказалось, что два дворника втаскивали ее чемоданы, узлы и картонки. Чрезвычайно смущаясь, густо краснея и помогая расставлять свои вещи, Тоня конфузливо бросала мне:

– Представь! Ведь я наконец совсем удрала от своих старух! Бога ради, не сердись на меня! Я так бесцеремонно нагрянула к тебе... Даже не предупредила. Мне ведь больше некуда деваться! Позволь провести у тебя хотя сутки. А завтра мы вместе поищем для меня какое-нибудь пристанище.

Хотя разрыв молодого поколения со старым был самою характерною чертою шестидесятых годов и мне то и дело приходилось быть свидетельницей того, как молодежь обоего пола уходила из-под родительского крова даже там, где детей страстно любили и где они, в свою очередь, были привязаны к родному гнезду, но все же я была чрезвычайно поражена «бегством» Тони, – так оно мало соответствовало ее характеру.

Историю ее дошкольной жизни мне отчасти рассказывала она сама, но еще лучше я познакомилась с нею из писем ее опекуна. Она лишилась матери в самом раннем детстве. Ее отец был учителем математики в одном из учебных заведений Воронежа. Оставшись вдовцом с двухлетним ребенком на руках и имея в городе свой собственный деревянный дом, Садовский прежде всего переселил к себе своего закадычного друга еще по университету, холостяка Муравского, учителя литературы в том же заведении, в котором служил и сам Садовский. Оба приятеля страстно привязались к маленькой девочке, оба чрезвычайно любили возиться с нею, внимательно следили за ее воспитанием, а через несколько лет Муравский занимался ею еще более, чем родной отец, который хворал очень часто и подолгу.

В то время знание иностранных языков считалось первым условием хорошего воспитания и воспитатели Тони нанимали для нее иностранок, а когда пришло время учить, сами стали ее учителями.

Садовский умер, когда его дочери было лет шесть. Он оставил завещание, по которому опекуном дочери, полным распорядителем ее судьбы и имущества был назначен крестный отец Тони, Муравский. Умирая, Садовский просил своего друга вести воспитание Тони в таком же духе, как оно было поставлено при нем, и тратить на него пятитысячный капитал, который он оставил в его распоряжение; когда же девочке исполнится девять лет, Муравский должен был определить ее в институт, даже если она не попадет в него по баллотировке. В таком случае ему предписывалось продать дом и вырученные деньги вносить за ее воспитание.

¹ Некоторые лица в этом очерке названы вымышленными именами, а писатели выступают под своими настоящими фамилиями. (Примеч. Е. Н. Водовозовой.)

Опекун исполнил более чем добросовестно желание своего приятеля. Он не тронул капитала Тони, а домашнее воспитание давал ей на собственные средства, заработанные им самим, присоединяя к этому и проценты с ее небольшого капитала. Когда девочке исполнилось девять лет, он отправился с нею в Петербург. Не желая лишать свою крестницу родственных привязанностей и заранее скорбя о том, что в институте ее ждет одиночество, если ее никто не будет навещать, он поехал познакомиться с ее родными тетками, сестрами матери Тони, двумя престарелыми девицами Алтаевыми. Сестры не могли пробудить в нем симпатии авторитетным, наставительным тоном и высказываемыми ими сентенциями в духе Домостроя. Очень огорчили они его и тем, что не проявили никаких родственных чувств к своей племяннице. Они заявили опекуну, что девушка только и может проникнуться правилами нравственности при воспитании в монастырской школе. Если Муравский последует их совету, они возьмут племянницу на свое попечение и судьба ее впоследствии будет вполне обеспечена. Принуждать ее сделаться монахиней они не намерены, но если она сама почувствует призвание к монашеской жизни, она навсегда поступит в монастырь, а не пожелает – будет жить с ними, с своими родными тетками. Получив воспитание в монастырской школе, девушка, по их мнению, избежит житейского соблазна, и они, ее тетки, уже позаботятся о ее дальнейшей судьбе. Опекун отказался от этого предложения, ссылаясь на свое обещание, данное умершему другу, определить сироту в институт.

– В таком случае мы умываем руки, – отвечали старые девы, холодно распростились с ним и с своею племянницею. На просьбу Муравского посещать девочку в институте они отвечали неопределенно, и за все время воспитания Тони ни разу не поинтересовались ею, не ответили даже ни на одно из ее поздравительных писем, которые она, по требованию крестного, писала им в первые годы своей институтской жизни, ни разу не навестили ее и никого не присылали к ней. Только Муравский летом, раз в два года, когда он освобождался от учительских обязанностей, на две, на три недели приезжал в Петербург. Тогда он аккуратно являлся в приемные дни к своей крестнице.

В противоположность громадному большинству экспансивных институток, Тоня была если не скрытною, то весьма замкнутою особою и совершенно индифферентно относилась ко всем окружающим, как к властям предержащим, так и к товаркам. Она ни с кем особенно не сближалась, никому не выказывала ни привязанности, ни антипатии. Классным дамам она не грубила, но не была у них и в фаворе: они скорее недолгобливали ее, так как она, по институтской терминологии, не подлизывалась к ним и не дружила с теми из подруг, которые пользовались их благосклонностью. Причиною нерасположения начальства к девочке, со всеми вежливой, было также и ее упрямство. Когда ее наказывали (в младшем классе института наказания сыпались на головы воспитанниц как из рога изобилия), не было той силы, которая могла бы принудить ее попросить прощения. Это ставило в крайне неловкое положение классных Дам. Инстинкты влекли Тоню скорее к порядочным, чем к дурным подругам, которых она сторонилась, но делала она это для них менее оскорбительно, чем кто бы то ни было из нас, выказывавших им всегда ненависть, презрение и выкидывавших относительно их злые проделки. Не будучи ни с кем из подруг ни в особенно дружелюбных, ни во враждебных отношениях, Тоня относительно товарок никогда не заклеила себя ни предательством, ни малейшим двусмысленным поступком с точки зрения школьной этики.

Когда в институте начались реформы знаменитого Ушинского и большая часть взрослых воспитанниц жадно набросилась на чтение, она тоже почитывала, но без особого увлечения, ни с кем не делаясь своими мыслями насчет прочитанного. Однажды, уже незадолго до нашего выпуска из института, увидав ее за чтением произведения одного из классиков, я спросила ее: «Неужели и оно не растопит ее, „нашу ледяную глыбу“», – это было прозвище, которое мы дали Тоне. Она подняла голову от книги и с минуту смотрела на меня молча.

– А ты приходишь от всего или в восторг, или в отчаяние, кого-нибудь ненавидишь и проклинаешь или превозносишь до небес. Всегда бурлишь, всегда кипишь! Объясни мне, как ты вся не выкипишь!

Тоня вообще очень редко высказывала свои мысли и мнения, никогда не говорила о своем желании начать после выхода из института самостоятельную трудовую жизнь, о чем мы и вслух и про себя горячо мечтали с тех пор, как в наших стенах, замуравленных от всего живого, появился Ушинский с приглашенными им новыми учителями. Тем не менее она была очень неглупою девушкой; такую ее считали учителя и мы, ее подруги, судя по ее? ответам и сочинениям.

– А мне было бы очень интересно знать, – сказала я ей вместо ответа, – если бы ты хотя раз искренно назвала мне причину, которая заставляет тебя ко всему и ко всем относиться так безразлично холодно? Почему ты никого не? любишь? Как это выходит так, что решительно ничто не волнует тебя, ничто не трогает?

– Ты очень ошибаешься. Меня трогает, но только один человек в мире – мой крестный. Он один меня любит, только он один на свете интересуется мною, и я одного его люблю. А здесь для меня решительно всё и все безразличны. Ты в таком восторге от теперешнего преподавания и возможности чтения хороших произведений... Да, конечно, наша институтская жизнь теперь интересней прежнего. Но я ведь не из воспламеняющихся: вероятно, нужен огромный костер или горячее солнце, чтобы растопить такую «ледяную глыбу», как я.

Она доказала впоследствии, что правильно охарактеризовала себя в то время. Ее индифферентизм долго поддерживался отчасти природного холодною ее темперамента и какою-то преждевременною рассудительностью, но также и запоздалым физическим развитием, при котором кровь спокойно переливается в жилах, организм не получил еще толчка, мозг не начинал работать над разрешением жизненных проблем, а сердце молчит.

По окончании институтского образования Тоня решила остаться пепиньеркой, то есть пройти специальный педагогический класс в том же институте. Молодые девушки этого класса имели уже право выезжать в известные дни. И вот в это-то время Тоня иногда посещала мой дом, изредка театр, но чаще всего оставалась в институте, не пользуясь даже своими свободными днями. Ни разу не была она и у теток, – так оскорбило ее их невнимание к ней.

Хотя во время ее двухлетнего пребывания в специальном классе мой дом был единственным, который Тоня изредка посещала, хотя она с большею сердечностью относилась ко мне, чем прежде, но я не считала ее особенно близкою для себя, и прежде всего потому, что мы совершенно расходились с нею во взглядах на многие вопросы, чрезвычайно дорогие для меня. Прожив наиболее острый период зари нашего обновления в институте и оставляя его только иногда, и то на несколько часов, она, конечно, не могла бы даже и при желании броситься в водоворот кипучей жизни шестидесятых годов. Но у нее и не могло быть подобного стремления: далеко не все идеи того времени были ей по душе, а к опрощению жизни, ко многим обычаям, нравам и одежде нигилистов она относилась с более горячим порицанием, чем это даже свойственно было ее натуре. Она считала всеобщим для девушки хорошие манеры и красивую одежду. Сама она имела вид светской барышни, прекрасно воспитанной и одетой хотя очень просто, но всегда изящно и с большим вкусом. При этом она постоянно высказывала сожаление, что ее ограниченные материальные средства не позволяют ей гораздо больше тратить на свой туалет, а у меня и у людей мне близких задачи и стремления были совсем иного характера.

Раз она встретила у меня прехорошенькую молодую девушку с обстриженными волосами и в гладком черном платье, не украшенном никакою отделкой.

– А, это, значит, тоже нигилистка? – заговорила Тоня, когда гостья ушла. – Надела на себя монашеское облачение, по-мальчишески остригла волосы и воображает, что она героиня!

– Она и есть настоящая героиня! Исключительно своим трудом – уроками музыки и языков, разрисовкой красками вееров и экранов – она содержит больную мать, двух маленьких племянниц и себя. Мало того, она еще умудряется давать два даровых урока в неделю в той школе, где я преподаю.

– Не умалила бы своих добродетелей, если бы немного расцветила свой монашеский туалет хотя бы каким-нибудь цветным бантиком: ведь цена ленты какой-нибудь четвертак.

– Вероятно, и четвертак для нее большой расчет. Ей, с утра до ночи занятой серьезной работой и заботой, некогда думать об украшениях. Мне кажется, только тот заслуживает порицания за свою более чем скромную одежду, кто прибегает к опрощению исключительно для выставки своих прогрессивных идей, во всех же других случаях это не минус, а плюс.

Когда Тоня увидела меня в первый раз после того как я отрезала свою косу, она посмотрела на это с не меньшим ужасом, как если бы я собственными руками отрезала себе уши или нос.

– Как могла ты, как решилась обезобразить себя? Ты представлялась мне всегда самостоятельным человеком, и вдруг рабски следуешь этой уродливой нигилистической моде!

Я ей указывала на то, что мои из ряду вон густые и непослушные волосы не только заставляли меня тратить на них много времени, но я так-таки и не научилась самостоятельно причесываться, всегда имела растрепанный вид, что меня страшно смущало. Но мои оправдания казались ей плохо мотивированными, и она находила мой поступок крайне глупым и унижительным для женского достоинства. Это не мешало ей с добротой и превеликим вниманием заботиться о моем туалете: она доставала мои платья из шкапов и старалась, если только была возможность, украсить их какими-нибудь кружевцами, бантиками или ленточками, и когда я не мешала ей это делать, она более снисходительно относилась, как она называла, к моим «нигилистическим замашкам и повадкам».

Когда Тоня кончила педагогический курс в институте, к ней приехал ее опекун и она объявила ему, что не желает более с ним расставаться, просила его увезти ее с собою в Воронеж и найти ей уроки в каком-нибудь учебном заведении этого города. Хотя он сам желал поселиться с обожаемою им крестницею, но боялся, что это сожительство вдвоем с молодою девушкою может повредить ее репутации; он чистосердечно высказал ей это, а также что он находится в большом затруднении, куда ему деть ее, так как она не желала гувернантствовать, дозволить же ей жить одной в Петербурге он считал опасным. Преследуемый этою заботою, он известил Алтаевых, что желает показать им их родную племянницу, уже взрослую девушку. Он неожиданно получил от них весьма любезное приглашение и вместе с крестницею был принят чрезвычайно радушно. Тетки упростили племянницу погостить у них несколько дней.

Когда по их просьбе Тоня написала несколько деловых писем и исполнила кое-какие поручения, они стали уговаривать ее совсем остаться жить у них. Они уже немощные старухи; жаловались они, что часто похварывают, что зрение у них слабеет, – вот Тоня и была бы их помощницею, заботилась бы о них во время их частых болезней, иногда почитала бы им кое-что, съездила бы кое-куда по их делам, – ведь такой труд не обременителен. А им так хотелось бы иметь в своем доме близкого человека: им невозможно обходиться теперь без чужой помощи. Пробовали они для этого брать молодых девушек, но все они оказывались «вертихвостками и никчемными». Нечего и говорить, добавляли они, что родные тетки не обидят свою племянницу и сироту: она будет у них вполне обеспечена, может выбрать для себя комнату, а если пожелает, то две и три, – ведь квартира у них в собственном доме, и весьма просторная.

Опекуну старухи сепаратно говорили о том, что если они поладят с племянницею, то она после их смерти получит половину их состояния, а другую половину они завещают на благотворительные дела и на помин души. Муравскому же, вследствие случайного знакомства с доверенным по их делам, только что сделалось известным, что у Алтаевых огромное состояние: под Москвою большое поместье, в государственном банке солидный капитал на хранении и собственный дом на Сергиевской. Доверенный по их делам не скрыл от Муравского и того, что обе сестры – большие ханжи и порядочные скряги. Да и сам Муравский хотя не знал их близко, но только по тому, что он видел и слышал, не обманывал ни себя, ни Тоню, что ее жизнь у старых дев не может быть особенно привлекательною для молодой девушки. Однако уверенность в том, что красивая, умная и рассудительная Тоня в конце концов непременно покорит сердца своих теток и пробудит в них запоздалую материнскую любовь, а также надежда, что она впоследствии будет богатою наследницею, настолько соблазнили Муравского, что он уговорил крестницу остаться у теток, не спросив их даже о том, будут ли они что-нибудь давать на ее туалет и карманные расходы.

Жизнь Тони у Алтаевых оказалась несравненно более неприятною, чем предполагали она сама и ее опекун. На нее сразу взвалили массу поручений, хлопот и дел, для исполнения которых ей то и дело приходилось разъезжать по всему Петербургу. Каждую свободную минуту она должна была читать теткам жития святых, писать письма под диктовку или самостоятельно набрасывать их, а также подсчитывать расходы и доходы по имению и дому. Старухи точно боялись оставить Тоню без дела хотя на минуту. Они наперед говорили ей: сделаешь это, начинай то-то. Когда изредка все было исполнено и казалось, что Тоня может отправиться в свою комнату, старухи просили ее вышить «хотя маленький букетик» по канве ковра, который они по обету должны были преподнести в ту или другую церковь. Каждое воскресенье, каждый большой праздник и накануне их она должна была сопровождать теток в церковь. По воскресеньям старухи давали обед знакомым духовным лицам, и такой день приносил Тоне особенно много хлопот.

Все это терпела скрепя сердце молодая девушка, но ее совершенно выводило из себя требование теток, чтобы она, исполняя свою обязанность разливать чай, все время присутствовала при беседах с ними монахов и монахинь, каких-то подозрительных проходимцев под видом странников и странниц с Афона и сборщиков на построение храма, которые то и дело заходили к ним по вечерам. Старухи с интересом слушали их рассказы о чудотворных иконах и о странствиях по святым местам и находили их очень назидательными для такой молодой девушки, как Тоня.

Через несколько месяцев жизни у теток Тоня, одурев от постылой жизни, просила их разрешить ей съездить в театр, но они резко отказали ей, объясняя свой отказ тем, что при поступлении к ним она не предупредила их о своей любви к театральным зрелищам, которые, по их мнению, могут только погубить нравственность девушки; к тому же им и не с кем отпускать ее, а такой девушке, как она, неприлично выезжать одной. На ее возражение, что она целыми днями разъезжает одна по их поручениям, они отвечали, что это совсем другое, – тогда каждый видит, что она занята своим делом, а в театре мужчины, возбужденные безнравственными современными пьесами, только и думают о том, как бы прицепиться к девушке и наговорить ей всяких пошлых комплиментов.

Тоня написала крестному, что жизнь у теток для нее несравненно тяжелее той, которую она вела в педагогическом классе института: тогда она, хотя изредка, могла выезжать в театр и куда ей хотелось. Крестный думал, что тетки будут наряжать ее, как куколку, а они то и дело упрекают ее за ее туалеты, слишком элегантные для сироты и бедной девушки. Скупы они до невероятности: для ничтожной поправки в доме они рассылают дворников во все концы города, чтобы найти столяра или слесаря на гривенник дешевле. С поваром каждый день происходит баталия за дорого заплаченную морковь или репу. Она не получает

ни копейки вознаграждения за свой беспокойный труд, а между тем ей необходимы деньги, чтобы покупать себе то башмаки, то перчатки. Они не позволяют ей помимо своих поручений никуда выезжать; она так завалена их делами, что даже не имеет возможности что-нибудь прочесть для себя.

Это письмо привело в негодование Муравского: он не щадил собственных средств, чтобы только не трогать маленький капитал своей крестницы, а теперь он должен высылать по крайней мере рублей двадцать пять на ее карманные расходы. Поразило его и то, что она ведет такую подневольную, замкнутую жизнь. Он требовал, чтобы Тоня немедленно выговорила для себя определенное время для выезда и для своего собственного чтения, чтобы она прямо и смело заявила им, что он, ее опекун, немедленно возьмет ее к себе и найдет ей уроки на сорок – пятьдесят рублей в месяц, и даже в таком случае она будет занята не более как до пяти-шести часов вечера. Он думает, писал он, что этих угроз достаточно будет для того, чтобы привести старух в христианскую веру, что эти ханжи и скряги побоятся лишиться в ее лице даровой компаньонки-экономки. Но тем не менее он просил Тоню, если только у нее хватит терпения, не порывать с ними окончательно: «Твои тетки обещали мне обеспечить тебя в будущем, а я могу так мало сделать для тебя!»

Как-то вечером Алтаевы, не дождавшись посещения любимого монаха Варсонофия, обещавшего к ним зайти, позвали к себе Тоню для чтения. Она отвечала, что явится через несколько минут, наскоро оделась, вошла к ним в пальто и шляпе и заявила, что ей сегодня некогда читать, – она решила посетить подругу и ночевать у нее.

Алтаевы были так поражены этим решительным заявлением, что даже растерялись в первую минуту. Но когда дар слова к ним вернулся, то одна, то другая из них начала выкрикивать:

– Как ты смеешь так разговаривать с нами? Мы не знаем твоей подруги! Ты не можешь нас так опозорить!

– Если вы находите мое поведение предосудительным, вы можете сказать мне об этом завтра. В таком случае я немедленно телеграфирую опекуну, чтобы он приехал за мною, и поселюсь у него. Кстати, теперь рождественские праздники, и он свободен от занятий.

Она повернулась, чтобы уйти, а вслед ей старухи продолжали кричать:

– Как? Ты собираешься поселиться с холостым человеком? Да от тебя отвернется решительно все общество!

Когда Тоня после полугода жизни у Алтаевых в первый раз приехала к нам, я нашла ее похудевшею и побледневшею.

II

Тоня, будучи в педагогическом классе, посещала нас только по воскресеньям, да и то крайне редко. В первый раз она приехала к нам на журфикс во вторник, как раз в такое время, когда у нас, благодаря праздникам, должно было собраться особенно многочисленное общество.

И вот через час-другой все наши комнаты были переполнены преимущественно молодежью обоего пола, был кое-кто и из литераторов, а также и наш бывший инспектор в Смольном монастыре К. Д. Ушинский, знакомые дамы и между ними несколько моих подруг. Сели за чайный стол: собравшиеся мало-помалу все более оживлялись. Здесь и там сообщали новости городские и провинциальные, слышались смех, остроты, шутки, спор. Наконец гости сами бросились выносить в кухню самовар и посуду, сдвигали стулья и столы в комнату подле, и таким образом выгадывалось более места. Раздалось дружное хоровое пение. Выступали и солисты, и куплетисты, и импровизаторы, произносившие речи, в комическом виде изображая некоторые события из современной действительности, или стихи экспромтом, правда нередко сочиненные заранее. Но когда начались танцы, тут уже веселье достигло своего апогея. Танцы играли на фортепьяно два студента в четыре руки, а подле них сгруппировались аккомпаниаторы – молодые люди с балалайками.

Ко мне подседа Тоня, вся раскрасневшаяся от танцев, с блиставшими от удовольствия глазами. Наклоняясь ко мне, она заговорила:

– До чего у вас весело! Счастливая, счастливая! Посмотри! Даже Ушинский танцует кадрили! Правда, он только расхаживает, но его обычной суровой серьезности точно и не бывало! Господи! хохочет! Ну, этого я уже не могла себе представить!

В эту минуту ее кто-то потащил за руку и поставил в круг танцующих.

Я присела в уголок к маленькому столику, чтобы поболтать с Евгениею Карловною Гаидебуровой, которая пила чай. Ко мне опять подбежала Тоня и проговорила, обращаясь к ней:

– Простите, что я утащу ее от вас.

– Берите, берите... Я сию минуту покончу с чаем и сама явлюсь к вам.

– Знаешь, вот тут, – объясняла мне Тоня, указывая на небольшой кружок молодежи, сидевшей, сгруппировавшись, в маленькой комнате, – идет игра в загадки и разгадки. Тот, кто не сумел разгадать, должен по присуждению окружающих рассказать что-нибудь из прошлого, но именно такое, в чем ему трудно сознаться.

Хотя после первых лет шестидесятых годов обычай без утайки говорить в глаза окружающим все, что только придет в голову, стал ослабевать, но пока он еще держался: грубость нигилизма уже сглаживалась, но его основа осталась. Я очень боялась, что до ушей щепетильной Тони, никогда не бывавшей в такой бесцеремонной компании, дойдет что-нибудь, что будет ее шокировать. Когда мы очутились в этой группе, очередь рассказывать о своих прегрешениях оказалась за Зариным, молодым человеком лет 28, с симпатичным лицом, на котором оспа оставила заметные следы. «Будьте же добросовестны, – кричали ему со всех сторон, – чистосердечно расскажите о ваших грехах молодости!»

– Не можете же вы требовать от меня, господа, чтобы я перед всей честной компанией взял да и открыл крепко-накрепко замкнутый сундук со всеми моими прегрешениями? Мне самому до смерти совестно вспоминать о многом.

– Так вытягивайте из него что-нибудь комичное!

– Почему же только комичное? Можно и трагическое.

– Во всяком случае, Зарин, вы не имеете права уклоняться от нашего условия.

– Пусть будет по-вашему. Я расскажу то, о чем до сих пор не могу вспомнить без краски стыда. Так вот: мне стукнул уже двадцать второй год, я только что перешел на третий курс юридического факультета и, должен сказать без хвастовства, был из серьезно занимающихся юношей. Несмотря на это, у меня была скверная привычка отправляться вечером после занятий, а то и ночью, шляться по улицам и приставать к одиноко идущим женщинам. Мне очень нравилось такое времяпрепровождение, и я находил, что это нисколько не предосудительно, даже полезно, как отдых после усидчивых занятий. И зачастую по вечерам или ночью я провожал то одну, то другую молодую особу, пока та не исчезала из моих глаз или не начинала во все горло звать городского. Тогда уже я со всех ног бросался в какой-нибудь переулок. Эта скверная привычка оставалась у меня даже и после того, когда однажды ночью я увидел небольшого роста худенькую-прехуденькую девушку, скорее даже подростка, которая боязливо пробиралась по улице, держа в одной руке портфельчик, вероятно с *musique*². Еще пока я шел сзади нее и мои шаги гулко раздавались по тротуару, я заметил, что она вся дрожит как осиновый лист. Но ее страх и трепет ничуть не устыдили меня. Вдруг она сразу побежала, но я следовал за нею крупными шагами и скоро догнал ее, поравнялся с нею и положил руку на ее талию. Она еще пуще затрепетала, я отбивалась, как пойманная птичка, слезливо всхлипывая, произносила какие-то бессвязные слова, а я еще крепче притянул ее к себе, и она без звука (верно, от страха у нее сделались спазмы в горле) почти упала на мою руку. Но в ту же минуту с шумом раскрылся ярко освещенный парадный подъезд дома, мимо которого мы с нею проходили. Оттуда на улицу вышло несколько мужчин и женщин. Схваченная и облапленная мною девочка точно сразу очнулась и как мышка юркнула в открытый подъезд. Волей-неволей я побрел домой, но должен сознаться, что и после своего возвращения я не почувствовал ни стыда, ни угрызения совести. Стою один в своей комнате и хохочу как дурак, – так мне было смешно вспоминать тот момент, когда трепещущую девочку я ощущал на своей руке, когда мне чудилось, что я слышу биение ее сердца. Эта позорная привычка, вероятно, довольно основательно сроднилась бы с моею душою, если бы не один случай...

– Однако вы, должно быть, порядочный мер... – вдруг гневно выкрикнул один из студентов, но присутствующие не дали ему кончить и с негодованием набросились на него: «Да ведь это же подло: принудить человека говорить о том, что ему тяжело вспоминать, а затем его же поносить!..»

– Я обещал рассказать, и dokonчу. Пусть уже после этого бросит в меня камнем тот, кто считает себя безгрешным в подобных делах.

Все сразу стихли.

– Так вот что нужно было, чтобы я наконец опомнился и оценил по достоинству свои похождения. Однажды в поздний осенний вечер навстречу мне шла высокая женщина. Она поравнялась со мною, и на хорошо освещенной улице я рассмотрел ее умное красивое лицо, смелое выражение ее прекрасных глаз. Когда она прошла мимо меня, я сейчас же пошел за нею. Молча прошли мы несколько минут, и я стал все ближе подходить к ней. Она тотчас остановилась и бросила мне несколько слов, в которых не было слышно ни волнения, ни конфузливости: «Не так близко! Слышишь, *ты?*» Хотя меня поразили ее высокомерные слова на «ты», точно окрик на лакея, который, несмотря на свое низкое социальное положение, осмеливается близко подойти к высокопоставленной особе, но они не пробудили во мне надлежащего сознания, а в первую минуту даже еще более подзадорили меня. Я смело поравнялся с нею и начал нести обычную околесицу: «Почему вы запрещаете приближаться к вам? Для меня чем ближе, тем несравненно приятнее»... и другую чушь.

Она шла молча, не замедляя и не ускоряя шага, но когда я выболтал все, что у меня было на языке, она, не останавливаясь, внимательно посмотрела на меня и, продолжая идти,

² Здесь: с нотами (*фр.*).

заговорила с презрением: «Ты, видимо, порядочный-таки пошляк и шалопай. Вместо того чтобы учиться или вести с умными товарищами серьезную беседу, ты путаешься по улицам и тратишь свою жизнь на приставание к женщинам. К тому же ты еще и идиот! „Хочу ближе... для меня это несравненно приятнее...“ (это она меня передразнила), а подумал ли ты, болван, что близость такого уродя, как ты, всего изрытого оспой, должна приводить в ужас каждую женщину?»

Эти слова как громом поразили меня: они ужаснули, оскорбили, унизили меня до последней степени. Я бросился бы бежать без оглядки в ту же секунду, но точно окаменел, – прямо-таки не мог сдвинуться с места. Остановилась и моя обличительница и, точно заметив потрясающее впечатление, произведенное на меня ее словами, вдруг проговорила уже мягче:

– Ну, слава богу! В каком-то уголке *вашей* души есть еще стыд! Смотрите же (она только тут обратилась ко мне на «вы»), не растеряйте его в ваших авантюрах, а то они, верьте честному слову, сделают из вас форменного негодяя. – И она быстро двинулась вперед.

Я тоже почувствовал наконец возможность повернуть назад. Я возвратился домой, как жалкая, побитая собачонка, совершенно изничтоженный и опозоренный. Когда я, не раздеваясь, бросился на постель, я спрашивал себя, могло ли быть для человека что-нибудь еще более позорно-унизительное сравнительно с тем, что было мне только что сказано? Если бы на меня кто-нибудь ни с того ни с сего вылил громадный ушат грязных помоев, это было бы, пожалуй, еще хуже? «Ничуть, – тут же отвечал я сам себе, – это было бы только случайною неприятностью, а ее слова ошельмовали меня за мое действительно позорное поведение. Однако было бы еще хуже, – раздумывал я, – если бы она дала мне пощечину и плюнула бы в глаза». И опять я отвечал сам себе, что она имела на это полное нравственное право и что ее обращение со мною, все ее слова не менее истерзали мою душу, чем плевков и пощечина. Одним словом, господа, – кончил Зарин свое повествование, – с тех пор я совершенно излечился от своей позорной слабости.

– Господин Зарин! – вскакивая со своего места и протягивая руку молодому человеку, воскликнул господин среднего роста, с одухотворенной, в высшей степени интересной физиономией, чрезвычайно худощавый, с пронизательно карими, лихорадочно блестящими глазами: это был Ушинский. – Не осуждать вас должны мы, а выразить вам свою глубочайшую признательность. Очень многие делают и в зрелом возрасте еще похуже того, что вы проделывали в юности, но едва ли у многих хватит мужества так чистосердечно изложить позорную страницу своего прошлого. Такая откровенность, несомненно, имеет громадное моральное значение.

– Вас, наверно, и это не прорвало? А сколько бы вы могли рассказать про себя такого, – сказала я пану Шершневному.

Это был человек небольшого роста, некрасивый, лет за 35, с неинтеллигентным, точно хронически припухшим лицом. Его все называли паном Шершневым: он был поляк, но, хотя знал польский язык, говорил на нем крайне плохо. Этот весьма неинтересный субъект как-то особенно глупо ухаживал за всеми нестарыми женщинами и девушками и назойливо приставал к ним. Но даже и те из них, которые имели некоторую склонность к флирту, не только конфузились, но страшно злились за подобную дерзость с его стороны и бесцеремонно гнали его прочь от себя.

– А вам, конечно, – отвечал он мне, – понравилось это всенародное покаяние уже потому, что его одобряет ваш богоподобный Ушинский. Раз он делает это, вы растериваете все ваши принципы, забываете, что никому не должно быть дела до личной жизни ближнего.

– Вы, по обыкновению, все перепутываете и сваливаете в одну кучу. – Но в эту минуту меня схватила за руку Тоня, и мы подсели с нею к Ушинскому.

– Расскажите-ка, Антонина Николаевна, как вы поживаете? Ведь я несколько лет вас не видел. Что хорошенького поделываете?

– Вот уж решительно ничего хорошего, – отвечала Тоня совершенно искренно, и она в нескольких словах обрисовала свою несложную и совсем несовременную жизнь у старых теток. В ее изображении можно было удивляться только тому, что такая неглупая девушка, ученица знаменитого Ушинского, могла быть совершенно лишена стремления к живой деятельности. Но у нее никогда не было ни малейшего поползновения представлять себя лучше, чем она была в действительности.

– Мне кажется, – сказал Ушинский, – даже как-то трудно представить себе жизнь, менее подходящую для здоровой, молодой девушки.

– Но, боже мой, Константин Дмитриевич! Где же мне жить, если не у теток? Матерьяльных средств у меня нет, если бы я даже и нашла какие-нибудь уроки, что очень трудно, то взять комнату у незнакомых людей мне не позволит опекун, да я и сама побоялась бы жить с чужими. К тому же на те гроши, которые нынче зарабатывают женщины, трудно устроиться даже весьма скромно.

– А вы не иначе согласитесь работать, как сразу получив место с хорошим окладом? Всем честным людям приходится вначале бороться с нуждой, лишениями и препятствиями. Жизнь без борьбы делает человека никуда не годною размазней, немыслима для того, кто желает выработать в себе настоящую работоспособность и приобрести надлежащие знания.

Но тут мне пришлось отправиться в импровизированную столовую, устроенную, как обыкновенно, руками той же молодежи. Это была настолько маленькая комната, что большой стол нельзя было даже окружить стульями.

Когда я начала расставлять закуски, ко мне подошел Николай Александрович Манькович, молодой человек лет 27, красивый блондин высокого роста, года два тому назад окончивший университетский курс.

– Скажите, пожалуйста, – обратился он ко мне, – как фамилия вашей подруги? Я сегодня встретился с нею у вас в первый раз. Ведь ваших фиксов я ни разу не пропустил в этот сезон.

– А что, она вам понравилась?

– О да, даже очень и очень! Чудесная девушка: красивая, грациозная, без тени жеманства, кокетства и рисовки... А это такая редкость! Я все слышал, что она рассказывала о себе Ушинскому. Неужели она так же внезапно исчезнет, как появилась? Увы, увы, неужели же она промелькнет для меня, «как мимолетное виденье, как гений чистой красоты»?

– Теперь не время разговаривать: мне нужно расставлять закуски. А вот ваш отзыв я непременно передам ей, когда все разойдется. – И я двинулась на другой конец стола.

– Я вам помогу, – не отставал он от меня, хватая посуду. – Видите ли что? – Он остановился и конфузливо теребил свою белокурую бородку, все не решаясь что-то сказать. Наконец, расхохотавшись, как-то искусственно, он проговорил скороговоркой: – Уж если вы хотите сплетничать, так сплетничайте сейчас, сию минуту, а я затем приглашу ее на мазурку.

– Несчастный! Вы не осмеливаетесь самостоятельно сказать даже комплимент?

– Раз это ваша подруга, значит, она современная особа... Скажи-ка кому-нибудь из вас комплимент, сейчас поставите на одну линию с паном Шершневым.

– Ну, вам не грозит эта опасность! От Адама и до настоящей минуты каждая девушка не прочь выслушать комплимент, если он не очень плоский.

Но тут кухарка внесла остальные закуски, и я сказала Маньковичу, что мазурка будет после ужина, а теперь нужно звать гостей в эту комнату и предупредить их, что здесь негде сесть.

– Господа! Ужин накрыт à la fourchette³, – зычно провозглашал он шутливым тоном, как бы желая придать что-то более торжественное закуске, которая у всех наших знакомых в это время была крайне скромною. – Господа, извольте направляться в эту комнату. За недостатком места для чересчур многолюдного собрания в этом милом нашему сердцу и гостеприимном доме пусть каждый возьмет, что ему по вкусу, и уходит в другие комнаты. – Его слова были покрыты шумными рукоплесканиями. Еще многие подходили к закусочному столу, когда из другой комнаты слышались голоса, требующие, чтобы Е. К. Гайдебурова спела что-нибудь. То была женщина лет 23, среднего роста, очень просто одетая, с белокурыми, прямыми, коротко остриженными, как у многих в то время, волосами, с чрезвычайно симпатичными и подвижными чертами лица. Она с необыкновенным юмором и экспрессией) пела комические песенки и дуэты.

Куманек, побывай у меня,
Душа-радость, побывай у меня... –

раздался ее небольшой, но приятный и звучный сопрано; она выражала свое пожелание заискивающим, сентиментальным голосом и лукаво блестящими глазами. Ей громким баритоном отвечал студент, точно сдерживая свой грубый голос, и желая придать ему нежность. Это пение было настоящим сценическим представлением. Все покатывались со смеху, и когда оно окончилось, публика потребовала повторения. Затем следовали различные танцы и наконец мазурка с разнообразными фигурами и с разудалым подъемом, во время которой то здесь, то там мелькала пара танцующих – Маньковича с Тоней.

Когда все разошлись, Тоня потянула меня в комнату, где для нее была приготовлена постель.

– Ну, теперь я уже намозолю вам глаза! Буквально каждый вторник буду являться! Такое задушевное веселье! Господи, а я-то ведь чуть совсем не прозевала его! И как странно: ведь целый вечер мы только бесились, школьничали, пели, а меня точно окрылило какою-то отвагой. Честное слово, – никакого страха не чувствую перед завтрашним объяснением с тетками.

– Тоня, милая, ведь в таком случае тебе скоро и совсем не захочется жить у них. Как Ушинский, так и все наши будут беспрестанно стыдить тебя, что ты живешь с этими ханжами, проводишь жизнь так бесполезно и скучно, как столетняя старуха.

– Это все же лучше, чем гувернантство.

– Наоборот, ты в гувернантках была бы более независимо: могла бы каждый вечер читать не только жития святых, но и выезжать, куда бы захотела.

– Какие вы все странные: Ушинский, ты и другие, с которыми мне приходилось говорить: вы воображаете, что человек решительно все может сделать с собою, что только он пожелает. А если у меня такой темперамент, что меня не воспаляют даже самые чудные идеи! А если я окажусь неспособной к самостоятельной жизни? Если я не могу долее учиться, если мне до тошноты надоели книги? Нет, нет, над этим нужно сильно призадуматься, прежде чем решиться порвать с моими тетками! Я всегда думаю: как бы не прогадать, как бы не было бы хуже от перемены?

³ налегке (фр.).

III

Когда Тоня приехала ко мне в следующий вторник, она рассказала, как после своего возвращения от нас она прямо заявила теткам, что если они желают, чтоб она оставалась в их доме, она не будет сидеть у них безвыездно. Она поставила непременным условием – пользоваться каждый вечер полною, бесконтрольною свободою.

На этот раз старухи совсем не кричали на нее, видимо, они были даже смущены. Вероятно, они нашли для себя невыгодным порывать с даровою эконолкою и чтицею.

– Ведь мы не хотели только, чтобы ты выезжала одна. Все, что мы говорили, мы нашли нужным сказать для твоей же пользы. И чего тебе не хватает у нас? Кажется, ты вполне обеспечена?

– Если бы крестный не посылал мне двадцати пяти рублей в месяц, я не могла бы купить себе даже башмаков. Я порядочно знаю иностранные языки и всегда могу получить место рублей на сорок в месяц и еще выговорить вечера для выездов и для собственного чтения.

Алтаевы, видимо, не ожидали, что Тоне может прийти в голову такая простая мысль о получении довольно изрядного для того времени вознаграждения за свой труд, и кончили тем, что огорченно проговорили:

– Обо всем этом нужно подумать... Тебе, вероятно, не говорил твой опекун, что, если бы мы с тобою поладили, мы бы по завещанию оставили тебе половину нашего состояния. Имей в виду, что других родственников у нас нет и нам было бы очень приятно сделать наследницею нашу родную племянницу-сироту.

– Но я ни за какие богатства не соглашусь сидеть у вас, как в тюрьме.

В первое же воскресенье после церковной службы одна из теток преподнесла Тоне брошку из своих старинных вещей, а другая – такой же древний браслет. Это было единственным вознаграждением за прошлые и будущие труды племянницы.

– Мы так решили: делай что хочешь по вечерам, только не оставляй нас, немощных старух. Мы так привыкли к тебе. Ты у нас скучаешь, и в этом виноват твой опекун. Если бы он согласился отдать нам тебя, когда ты была еще ребенком, мы определили бы тебя в монастырскую школу и ты не рвалась бы так к пустой светской жизни. Ты бы сумела оценить общество духовных лиц, которое нас окружает. Уже не говоря о многих священниках, людях большого ума и премудрости, но даже монахи-странники, посещающие наш дом... возьмем для примера хотя отца Варсонофия, – могут очень много сообщить интересного. Но тебя все тянет к суете мирской...

Всю вторую половину зимнего сезона Тоня оставалась у Алтаевых. Несравненно менее страдая теперь от жизни у них, она аккуратно являлась к нам каждый вторник. Не по летам осторожная, благоразумная и вдумчивая, она, видимо, желала самостоятельно присмотреться к тому, как сложится ее теперешняя жизнь у теток. Ей совсем не хотелось, чтобы кто-нибудь со стороны толкал ее на немедленный разрыв с ними.

Как-то в один из понедельников пришелся большой праздник. Тоня, вся сияющая, приехала к нам гостить на три дня. Я встретила ее известием, что сегодня назначена вечеринка у М-ских, – они очень просили нас приехать с нею.

– Вот-то счастье: два вечера сряду проведу интересно! – с восторгом воскликнула Тоня, схватила меня за талию, и мы пустились вальсировать.

Странная метаморфоза происходила с этою девушкою: она делалась все более оживленною, полюбила удовольствия и развлечения, все более интересовалась всеми, кто окружал нас. Между прочим, она очень сместила нас тем, что обо всем, что ее интересовало или

удивляло, она спрашивала объяснения у нескольких лиц. Это была особого рода система – узнавать мнение многих лиц об одном и том же.

Дело было в конце марта: снег стоял уже давно, но вечер был очень холодный. Тоня одела свое красивое черное бархатное пальто и такую же шляпу: все на ней сидело всегда прекрасно и очень шло к ней. Мы весело собирались на вечеринку, не предчувствуя, что эта поездка окончится так печально для Тони и произведет на нее подавляюще-тяжелое впечатление.

Ввиду того что воспитанницы закрытых институтов надолго, а то и на всю жизнь оставались большими трусихами, я предложила Тоне ехать с моим мужем, Василием Ивановичем, но она возразила, что я никогда по вечерам не выезжаю одна, а ей уже давно приходится быть самостоятельной. Она просила нас только, чтобы мы ехали впереди: мы оба люди бдительные, она сама будет следить за тем, чтобы ее извозчик не отставал от нашего. Мы ехали с угла Ивановской и Кабинетской, где мы тогда жили, на Петербургскую сторону к нашим знакомым, и нам приходилось проезжать как по многолюдным, так и по малолюдным улицам. Мы приехали совершенно благополучно и на вопрос хозяев, а что же Антонина Николаевна, отвечали, что она сейчас явится. Нас усадили за чайный стол, но ее все не было, и я решила, что она заехала в кондитерскую купить конфет детям наших знакомых, может быть, кстати зашла и в перчаточный магазин. Однако прошло более часу, а она все не приезжала, и я заявила Василию Ивановичу, что мы немедленно должны возвратиться домой. Мы не нашли извозчика, и нам долго пришлось идти пешком.

Как только няня открыла дверь, она сообщила нам, что с барышнею случилось какое-то несчастье, что она возвратилась домой с каким-то офицером, который только что ушел от нас. Когда я вбежала в столовую, Тоня сидела облокотившись на стол руками и опустив на них свою голову. Она подняла свое распухшее от слез лицо, но не могла произнести ни слова. Только грудь ее судорожно подымалась; наконец она выпила воды и рассказала нам о только что случившемся с нею, но говорила бессвязно и сбивчиво, а минутами снова начинала волноваться и плакать.

Дело было вот в чем: ее извозчик на одной из улиц вдруг поехал медленнее, может быть, оттого, что сразу проходило несколько пешеходов, а может быть, потому, что он заранее условился об этом кое с кем. Тоня, заметив, что наша пролетка скрылась из виду, закричала: «Да поезжай же скорее!» В ту же минуту двое молодых людей, весьма прилично одетых в штатское, вскочили в ее пролетку, сели по обе стороны Тони и так сжали ее, что она волею-неволею очутилась у них на коленях. Один из них схватил ее за талию, другой рукою зажал ей рот; его компаньон начал ее не то обнимать, не то обшаривать и расстегивать пуговицы ее пальто, – вероятно, все это было одновременно. Кричать она не могла и только толкала их локтями. В ту же минуту по их приказанию извозчик круто свернул в какой-то переулок. Вдруг тот, который зажимал ей рот, вздрогнул и опустил руку. Она увидела, что к ее пролетке быстро подходил какой-то офицер. Тоня хрипло вскрикнула; офицер стоял уже подле и закричал извозчику: «Стой!» Тот моментально остановил лошадь. Все это произошло в одну-две минуты. И Тоня, вздохнув свободнее, закричала что было мочи: «Спасите, спасите!»

Предприимчивые молодые люди, выпрыгнув из пролетки, не могли никуда улизнуть. Городовой и кучка прохожих, моментально вынырнувшая точно из земли, окружили пролетку. Офицер закричал городовому, чтобы он звал других на помощь и чтобы их всех вели в участок для составления протокола. Оба негодяя, перебивая друг друга, оправдывались:

– Помилуйте, господин поручик, это гулящая девка Машка! У кого угодно спросите, все ее знают. Мы с нею гуляли в трактире, она сама напросилась, чтобы свезти ее в танц-класс...

– Отчего же она кричала? Отчего происходила борьба? – спрашивал офицер.

– Очень просто: надрызгалась, ну и куражится! Когда их привели в участок, офицер заметил, что этих негодяев здесь прекрасно знают и что они делают кой-кому из полицейских какие-то знаки глазами.

Тонин спаситель добросовестно изложил полицейскому приставу происшествие, свидетелем которого он был, и добавил, что объяснения господ штатских, крик жертвы и ее борьба с ними совсем не подтверждают их показаний: молодая особа имеет вид вполне порядочной девушки из общества, и она совершенно трезвая. Но негодяи настаивали на своем, все время называя ее «гулящею девкою Машкой», в доказательство чего ссылались на то, что она уже на извозчике начала раздеваться, чтобы им свободнее было делать с нею что вздумается. Тоня с удивлением взглянула на свое пальто и только тут заметила, что оно было расстегнуто, а она шла таким образом по улицам и не чувствовала холода. Когда очередь дошла до нее и пристав спросил об ее имени, фамилии и месте жительства, она отвечала, что постоянно живет у своих теток Алтаевых. Она не успела еще сказать ему, что в данное время гостит у нас и что мы вместе с нею отправлялись на вечеринку к знакомым, как полицейский пристав с удивлением спросил ее;

– У каких Алтаевых? У двух богомольных барышень-сестер, имеющих собственный дом на Сергиевской? Я бывал у них по делам и припоминаю даже, что однажды видел вас у них. Больше не требуется никаких показаний с вашей стороны, а с ними (он указал на двух молодых людей) я дело покончу и без вас. Можете идти – вы совершенно свободны, сударыня.

– Мне кажется, вы сильно испуганы, – обратился офицер к Тоне, когда они вышли на улицу. – Не сочтите назойливостью с моей стороны, если я предложу вас проводить.

Тоня согласилась на это с благодарностью, и он довез ее до нашего дома. Этою новою услугою офицер еще более выиграл в ее мнении. Когда они были у двери нашей квартиры, он начал с нею прощаться. Ввиду того что Тоня от волнения молчала всю дорогу, а между тем она находила необходимым кое о чем спросить его по поводу случившегося, она сама предложила офицеру войти к ней на несколько минут. Как только она сняла пальто, она указала ему на золотую цепочку, которая блестела, прицепившись к складкам ее лифа, а часов как не бывало. Вот почему ее пальто оказалось расстегнутым: ясно, что нападение на нее было устроено с целью грабежа.

Усадив офицера в столовой, она высказала ему, что очень беспокоится насчет своего показания: когда она сказала в участке, что живет у Алтаевых, как это и есть на самом деле, пристав перебил ее вопросом и не дал сказать ему, что в данную минуту она гостит здесь, у своей подруги. Она боится, чтобы не вышло какого-нибудь недоразумения. Не желает она также и того, чтобы имя ее трепалось в газетах при описании этого происшествия.

Офицер предложил свои услуги: он сейчас же отправится к полицейскому приставу предупредить его об этом и думает, что дело будет улажено согласно ее желанию.

На другой день с рассылным Тоня получила письмо от офицера, в котором он, при обращении к ней по всем правилам вежливости, упоминал о своих переговорах в участке и извещал ее, что все устроилось так, как она того желала. Затем стояла его подпись: Александр Ермолаев.

На эту записку Тоня посмотрела как на акт высшей порядочности со стороны офицера: он не навязывался на знакомство, не желал пользоваться своим положением защитника и спасителя молодой девушки, и она за это была ему бесконечно благодарна. Его письмо доказывало также, что он считал своим нравственным долгом успокоить ее хотя письменно.

Как во весь вечер злополучного происшествия, когда мы до рассвета обсуждали его, так и на другой день, когда Тоня уже успокоилась, она нет-нет да и скажет что-нибудь в таком роде: «Как ужасна участь одинокой девушки!»

Однако через несколько недель после этого она, казалось, совсем забыла о случившемся.

IV

Бодрое, возбужденное настроение Тони сменилось грустью, тоскою и унынием. Нередко во время самого оживленного разговора она вдруг задумывалась, слезы закипали на ее глазах, и она, как бы желая взглянуть в окно, подходила к нему, смахивала слезу, возвращалась на свое место и, видимо с усилием подавив мучительную думу, продолжала начатый разговор. Ее тревожное состояние не проходило, и я наконец заметила ей, что она, несомненно, переживает какое-нибудь горе, и убеждала ее все откровенно рассказать мне.

– Боже мой! да я ничего не хотела бы в эту минуту так, как обсудить вместе с тобой тот ужас, тот позор... Да, новый позор, которому я подверглась, и уже не случайно, как тогда, когда меня спас Ермолаев, а сама устроила его, поступила бесстыдно до последней степени. Но я не могу говорить об этом! Я, кажется, тут же умру на месте от стыда, как только заикнусь о том, что я наделала! Нет, нет! Не спрашивай... не могу!

– Если ты не можешь все откровенно рассказать мне, почему бы тебе не обсудить того, что тебя так мучительно терзает, с твоим крестным? Судя по твоим рассказам, у тебя с ним идеальные отношения...

– Я его потеряла, потеряла навсегда! – И она вытащила из кармана пачку листиков почтовой бумаги, исписанных мелким мужским почерком, бросила их передо мной на стол и, рыдая, убежала в мою спальню.

Оказалось, что это письмо от Муравского.

«Как, Тоня, ты предлагаешь мне руку и сердце? Мне, который считал и всегда будет считать тебя своею родною дочерью! Да это, моя милая, такой камуфлет, от которого я не могу опомниться! И ты предлагаешь мне это потому, что, по твоим словам, любишь меня больше всех на свете. Но, родная моя девочка, с меньшим чувством я никогда бы не помирился. Если кто-нибудь из провинциальных кумушек когда-нибудь скажет тебе, что тот, чье имя ты носишь, не твой родной отец, знай, что она солжет против очевиднейших фактов. Твой отец – мой единственный, истинный друг, горячо любимый мною всю жизнь, торопил меня с переездом в Воронеж, и по его хлопотам я получил наконец учительское место в этом городе: он желал во что бы то ни стало сделать меня твоим крестным отцом. Одна из здешних сентиментальных глупышек еще недавно сказала мне, что мою привязанность к тебе она, как и все, объясняет моею безумною любовью к твоей матери, которой я будто бы на одре смерти дал слово никогда не оставлять тебя. Это такая же ложь, как и первая.

Скоро после того, как твоя мать дала тебе жизнь, она заболела раком, который года через два унес ее в могилу. После ее смерти я, не расставаясь, жил с твоим отцом до самой его кончины. Так же как и он, я внимательно наблюдал за твоим физическим ростом, с восторгом слушал твой детский лепет, сживал по ночам у твоей кровати во время твоих болезней, так же как и твой отец, страдал и приходил в отчаяние от ухудшения твоего здоровья или ликовал и был на седьмом небе от радости, когда проходил кризис, играл и возился с тобою я тоже не менее, чем твой отец. А затем ты еще малюткою осталась исключительно на моих руках. И в период твоей институтской жизни, далеко от тебя, все мои мысли, все заботы всегда были сосредоточены на тебе. Ты всю жизнь была моею единственною радостью. С каким наслаждением я откладывал десяток-другой рублей, чтобы скопить сумму, необходимую для поездки в Петербург! Как еще задолго до свидания с тобой я рисовал в воображении нашу встречу, раздумывал о том, переменялась ли ты, похорошела или подурнела, сильно ли обрадуешься нашей встрече. Теперь мечтаю о том, как через четыре года я дослужусь до пенсии, выйду в отставку, а ты в это время уже будешь замужем: я поселюсь с вами, буду нянчить и любить твоих детей, моих внуков, так же, как любил и тебя. Моя старость быстро надвигается, родная моя детка, но благодаря тебе, мое сокровище, я не боюсь ее, не страшусь

одинокства: я буду окружен родною семьею, и любимая рука закроет мне глаза. Верь мне, голубка, не одна кровь создает родственную связь между людьми, но и общие интересы, заботы о благосостоянии другого существа, мечты о его будущем.

Уверяю тебя, моя ненаглядная девочка, если бы на то, что ты сама предлагаешь, мне намекнула одна из здешних кумушек-просвирен, я бы с ужасом и отвращением отшатнулся от нее: на брачный союз с тобою я посмотрел бы как на какое-то противоестественное преступление. И это потому, что я считаю тебя моим родным детищем, ниспосланным мне провидением. Но не салопница-просвирня делает мне это предложение, а дочка, данная богом, чистая девушка с кристальною душою! Храни тебя бог подумать, дочурка моя милая, что скверные эпитеты, которые я даю провинциальным кумушкам, я хотя мысленно прилагаю к тебе. Я ни на минуту не заподозрил чистоту твоих намерений, но меня в ужас приводит твое ребяческое мирозерцание. По самому поверхностному наблюдению над людьми, даже только понаслышке, ты должна была бы знать, что брак – одна из самых серьезных перемен в нашей жизни. И ты, такая осторожная во всем, такая разумная, рассудительная, вдруг сразу: „Не угодно ли, мою руку и сердце?“ Твое предложение особенно изумило меня потому, что, судя по твоим письмам, ты в последнее время вся ушла в то новое, что ты только что встретила. Я уже не раз писал тебе, как я счастлив, что ты наконец попала в кружок людей живых и образованных... В каком я восторге от всего того, что ты мне сообщаем! Ты не поверишь, как меня интересуют твои описания разговоров, которые ведутся в этом кружке, все то, что ты сообщаем о взглядах и спорах по поводу тех или других вопросов. Я замечаю, что ты начинаешь живее интересоваться всем, что у тебя являются вопросы и мысли, которые еще никогда не приходили тебе в голову, одним словом, что ты наконец просыпаешься. Каким же образом именно теперь в твою голову пришла такая нелепая мысль? Прежде всего я объясняю это твоим замкнутым институтским воспитанием, затем твоею жизнью у тетюшек, когда продолжали дремать все твои душевные силы, и тем, что с переменою, которая произошла в твоей жизни, ты еще не могла освоиться. Вероятно, потому, что ты встретила настоящих живых людей, впервые наблюдаешь иную жизнь, ты уже совсем не можешь примириться с обществом ханжей, паразитов и тунеядцев, хотя твое положение у Алтаевых изменилось к лучшему. Быть может, это чувствуется тобою только инстинктивно, но ты скоро сама признаешь, что я прав.

Когда ты побольше познакомишься с жизнью, то увидишь, что счастливые браки между людьми, даже соответственного возраста, явление крайне редкое, а если муж более чем в два с половиною раза старше жены, как это было бы между нами, такие браки кончаются обыкновенно полным разрывом между супругами, ломкою всей жизни и тяжелыми трагедиями.

Ввиду того что тебе, видимо, опостылела жизнь у Алтаевых, не могла ли бы твоя подруга устроить тебя на даче в своем семействе? А если это невозможно, не можешь ли ты попросить своих знакомых подыскать тебе какое-нибудь место учительницы в отъезд?»

Когда мы, Василий Иванович и я, окончили чтение этого письма, мы употребили все наши усилия убедить Тоню, что в ее ребяческом предложении нет ничего постыдного для нее и что душевный тон письма ее крестного красноречиво говорит о том, что и он так же смотрит на ее выходку.

Долго она еще рыдала и недоверчиво спрашивала: «Вы это только так говорите... чтобы меня утешить!» Наконец волнение ее улеглось, и она дала нам слово немедленно ответить своему опекуну.

– Скажи, пожалуйста, Тоня, почему ты вдруг вздумала сделать крестному такое предложение? – спросила я ее, еле удерживаясь от смеха.

– Не спалось мне как-то. Ворочалась я, ворочалась с боку на бок, и вдруг мне пришла на память ваша вечеринка и рассказ Зарина. Еще гораздо более взволновало меня воспоми-

нение об инциденте со мною, когда я должна была явиться в полицейский участок. И вот передо мною стали рисоваться картины будущей моей жизни, одна ужаснее другой. Просто как-то даже страшно сделалось. И я решила, что спасти себя я могу только выйдя замуж за крестного. Я вскочила с постели и наваляла свое дурацкое письмо... Вот вы всегда издеваетесь надо мной, что я все обдумываю: в первый раз поступила скоропалительно – и устроила такую штуку, о которой всегда буду вспоминать с краскою стыда. Нет... теперь шабаш! Смейся сколько душе угодно, а я после этого еще несравненно серьезнее буду обдумывать каждый шаг.

Желание опекуна Тони поместить ее у нас на лето не могло осуществиться: дача наша, нанятая задолго до этого, была слишком мала даже для членов моей семьи. Не удалось нам и найти для нее места учительницы. Она уехала на лето с тетками в их подмосковное имение.

V

В первом письме из деревни Тоня описывала приволье деревенской жизни. Летом у теток ей жилось еще лучше, чем даже в последнее время в Петербурге. Когда Алтаевы давали ей поручения, которых в деревне было гораздо меньше, она очень радовалась им. Ее посылали обыкновенно в Москву, находившуюся от них по железной дороге в двух часах езды. Она приезжала туда утром и могла возвратиться домой только вечером. Исполнив порученное ей, она в свободное время осматривала Москву и знакомилась с ее достопримечательностями. Несмотря, однако, на прелесть деревенской жизни, Тоня писала, что жизнь у теток ее все более томит. «Не с кем сказать слова, поболтать по душе, никогда не раздается здесь, как и в их городской квартире, ни шуток, ни смеха». Кругом все как-то хмуро, благочестиво без благочестия, фальшиво и просто как-то глупо до дикости. Тетки особенно раздражают меня своей алчностью и показною религиозностью: чтобы не делиться со мною деликатесами, которые они покупают, они уничтожают их наедине, когда отправляются в свои спальни молиться богу и ложиться спать. Они зачастую преподносят богатые дары в различные церкви, раздают медные копейки на паперти нищим, но при мне никогда не помогли ни одному деревенскому бедняку. На днях к ним прибежала баба, их бывшая крепостная-дворовая, которую они как-то сами расхваливали за честность и порядочность. У нее после внезапной смерти мужа осталась на руках куча ребят. Вся ржаная мука у нее вышла, а до нового хлеба приходилось ждать еще более месяца: она умоляла дать ей взаймы четверть ржи. Тетушки приказали исполнить ее просьбу, но вытребовать с нее осенью полторы четверти – «полчетверти за процент»; как они сами объяснили несчастной женщине. Приказание это было внесено в особую книгу, в которой записаны и другие подобные же «благотворения Алтаевых».

Тоня в сентябре возвратилась с тетками в Петербург. Однако не прошло и недели с их приезда, как их снова вытребовали по экстренному делу в подмосковное имение. Они дали знать о своем отъезде духовенству, собиравшемуся у них по воскресеньям, и просили Тоню присмотреть за домом, а по вечерам поить чайком «божьих людей», если кто из них завернет к ним.

– У нас положение для них такое, – знакомили они племянницу с подробностями своих хозяйственных распоряжений, – пусть чайку попьют, сколько душе угодно, можно и во второй раз для них подогреть самоварчик, но насчет булок – им полагается по одной трехкопеечной на брата. Зато в настоящее время можно им масленку с маслом ставить: в нынешнем году его достаточно получено из деревни. Денег мы даем каждому по пятнадцати копеек в неделю, но их-то уж пусть они подождут до нашего возвращения.

Алтаевы рекомендовали Тоне проявлять особое внимание к страннице Нимфодоре и к монаху Варсонофию, – это, по их словам, люди святой жизни.

После отъезда старух каждый вечер из «божьих людей» приходил кто-нибудь, а то и несколько человек сразу, выпрашивая у Тони хотя четвертачок от ее «усердия к богу» на построение храма.

Не дожидаясь окончания их чаепития, Тоня насыпала вазу сахару, ставила ее на стол перед ними, замыкала буфет (по требованию теток, как видно не рассчитывавших на честность «божьих людей») и отправлялась в свою комнату. Но вот однажды горничная докладывает ей о приходе монаха Варсонофия, которого она особенно не терпела за его бегающие глаза и антипатичное выражение лица. Она распорядилась, чтобы как можно скорее подавали чай. Когда вошел монах, Тоня заявила ему, что тетушки возвратятся еще не скоро. Она сейчас приготовит ему чай, но самой ей некогда беседовать с ним. Он же может не стесняться: тетушки просили его пить чай на здоровье и сколько угодно.

– Значит, брезгуешь человеком: одной рукой, как собаке, корку бросаешь, а другой за дверь швыряешь...

Тоня перебила его требованием называть ее «вы».

– И грех же какой эта твоя строптивость! В твои годы молодые ты должна кажинному человеку доброе слово сказать, обласкать, услужить, значит, свое смирение выказать. Вот про тебя и добрая молва пойдет, хорошего женишка скоро найдешь.

– Вот вам чай, – сказала Тоня, вместо ответа поставив перед ним стакан и сахарницу, – а теперь потрудитесь сами угощаться.

– Полагаю, девонька, чудесная ты моя красоточка, строптивость-то твоя от тоски... Сладка ли жизнь со старым хламом, как твои тетки – старые девки, да еще такие скареды...

Тоня в это время уже встала из-за стола и подходила к двери, как вдруг Варсонофий сорвался со стула и бросился ее обнимать со словами: «Слава милосердному!.. Одни мы теперь... Вот и попользуемся!» Однако молодая девушка ловко выскользнула из его объятий и успела уже позвонить. Вошла горничная, и «божий человек» волей-неволей отшатнулся от нее.

– Сейчас же вывести вон этого негодяя! Если у вас не хватит сил, позовите дворников... – закричала Тоня, вбежала в свою комнату и захлопнула дверь за собою.

Однако «божий человек», несмотря на увещание горничной, громко стучал в дверь, посылая Тоне угрозы:

– Ишь ты, каверза подлая! Если посмеешь оговорить, так и я ведь не без языка!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.